ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-6-134-138
УДК 94(47)(045)

Скрытые 1950-е: нарратив префигуративной культуры

А.А. Трошин
Финансовый университет, Москва, Россия
https://orcid.org/0000-0001-5041-0671

АННОТАЦИЯ

В истории СССР 1950-е гг. являются периодом, редко осмысляемым историками как единое целое. Они, скорее, трактуются как время перехода от культуры высокого сталинизма к эпохе оттепели. Между тем, в это время был заложен экономический и военно-технический базис советского наследия, что стало основой российской экономики. Социокультурным фактором, определившим специфику времени, является то, что Маргарет Мид определила как префигуративную культуру — состояние общества, когда взрослые учатся у своих детей, которые наделяются новыми правами. Это нашло свое выражение в художественной литературе и искусстве 1950-х гг.

Ключевые слова: история СССР; 1950-е годы; культурология; префигуративная культура; нарратив; советская художественная литература

Для цитирования: **Трошин А.А. Скрытые 1950-е: нарратив префигуративной культуры. *Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета*. 2021;11(6):134-138. DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-6-134-138**

ORIGINAL PAPER

The Hidden 1950s: Narrative of Prefigurative Culture

A.A. Troshin
Financial University, Moscow, Russia
https://orcid.org/0000-0001-5041-0671

ABSTRACT

In the history of the USSR, the 1950s are a period rarely comprehended by historians as a whole. Instead, they are interpreted as a time of transition from the high Stalinism culture to the thaw era. Meanwhile, at this time, the economic and military-technical basis of the Soviet legacy was laid, which became the basis of the Russian economy. The sociocultural factor that determined the specifics of the time is what Margaret Mead defined as a prefigurative culture — a state of society in which adults learn from their children, who are endowed with new rights. It found its expression in the fiction and art of the 1950s.

Keywords: history of the USSR; 1950s; cultural studies; prefigurative culture; narrative; Soviet fiction

For citation: **Troshin A.A. The Hidden 1950s: Narrative of prefigurative culture. *Gumanitarnye Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*. 2021;11(6):134-138. (In Russ.). DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-6-134-138**

В новых книгах по отечественной истории 1950-е гг. — по-прежнему время между Войной и Оттепелью. Это некий промежуток без нарратива, не создавший «устойчивого ансамбля» лингвистических или поведенческих структур, что передавался бы от них следующим поколениям. При том, что именно тогда был создан основной экономический ресурс, используемый в наши дни (космос, ядерная энергетика, нефтедобыча и т.д.), все равно: 1950-е — скрытое время. Вот как это выглядит:

Пример 1. В монографии 2021 г. «Рабочий класс СССР: жизнь в условиях промышленного патернализма» Максим Лебский пишет о трансформации понимания такого базового идеологического понятия, как «рабочий класс» в советской науке: «с 1960-х гг. в СССР рабочим классом стали заниматься не политэкономы, а социологи <…> Как впоследствии признавался В. Ядов, совет-

© Трошин А.А., 2021

ские социологи «втащили втихаря» в свои работы структурный функционализм Т. Парсонса» [1, с. 22]. Видимо, в предшествующее пресловутым 60-м десятилетие произошло то, что заставило членов КПСС заговорить в категориях «социальная структура» вместо категории «классовое общество»? Но что произошло — непонятно. Автор в монографии исследует косыгинскую реформу и ее последствия, т.е. период с 1965 г. Все, что раньше,— предыстория, включающая только раннесоветский период, закончившийся к 1940-м. О 1950-х упоминания точечные, встречающиеся там, где надо поддержать линейную последовательность: мы, например, узнаем, что именно в это время в классовом составе населения СССР рабочих стало более 50%, и рост их доли к 1987 г. продолжился [1, с. 25].

Пример 2. В главе о советской школьной политике позднесталинского времени из коллективной монографии 2015 г. «Острова утопии» Мария Майофис указывает, что в 1945–1946 гг. в советской педагогике появились новые идеи о самостоятельной работе и самостоятельном мышлении учащихся, что связывается с влиянием американской педагогики [2]. И хотя в положительном ключе об американцах с 1948 г. упоминать было нельзя, попавшие в военное время в нашу школу «семена» как-то прорастали, и многое из-за этого происходило. Например, случился кризис эгалитарной идеологии, выразившийся в школьной реформе 1958 г. (о чем в этой монографии повествует глава П. Сафронова). Но все равно, 1950-е — лишь преддверие, «раннее начало оттепели».

Между тем, период с 1945 по 1961 г. (с окончания Второй мировой до начала деиндустриализации советской экономики) — вполне самодостаточное время. Динамичное, результативное — оно действительно начинается с изменений в образовании и заканчивается формированием нового типа социальной структуры советского общества. Кроме того, далеко не безликое и не немое — оно представлено уникальным нарративом, особенно его сердцевина — с 1953 по 1958 г. И здесь, как советским педагогам 1945–1946 гг., мне понадобится американская теория.

В работе «Культура и преемственность» Маргарет Мид разграничила три типа культур: *постфигуративную*, где дети учатся в первую очередь у своих предшественников, *кофигуративную*, где и дети, и взрослые учатся у сверстников, и *префигуративную*, где взрослые также учатся у своих детей. Последний тип культуры она полагала доминирующим с 1940-х гг. и связывала его возникновение с научно-техническими достижениями: «сегодняшние дети вырастают в мире, которого не знали старшие» [3, с. 361]. Из-за принципиальной неизвестности будущего происходит наделение молодежи новыми правами, которые основываются на определенной независимости молодого человека от существующей институциональной структуры социума. Цель правообладания — формирование у молодых людей новой общности опыта, способной обеспечить дальнейшее развитие культуры.

Элементы префигуративной культуры проявились и в советском обществе. Однако произошло это вследствие послевоенного кризиса, с некоторым «техническим» запаздыванием,— во второй половине 1940-х это еще педагогическая тенденция, а как система образцов динамического поведения и поддерживающий ее нарратив — с начала 1950-х. Социальной средой, допускавшей существование префигуративной культуры, была ситуация так называемой «большой сделки». Этим термином Вера Данхэм обозначила формирование среднего класса на основе технической интеллигенции в условиях обмена лояльности политическому режиму на обеспечение роста материального благополучия данной социальной группы [4]. В начале 1960-х, как следствие политики Н. С. Хрущева, этот социальный контракт властью был расторгнут. Но в 1950-е «большая сделка» обеспечила формирование экономической и военно-технической базы государства.

Составной частью «большой сделки» является возникновение и развитие нарратива префигуративной культуры, обеспечивающего этой сделке кадровый ресурс для необходимых инноваций. В условиях постоянной технической модернизации власть уже не могла основываться исключительно на знании о прошлом. Ресурс культуры, в рассматриваемом случае так называемая «героико-революционная мифология», актуализированный в 1920–1930-х гг. в механизмах преемственности от старших поколений к младшим, стал явно недостаточен для развития общества. Новые поколения должны были самостоятельно освоить гораздо больший ресурс через механизмы обучения и инкультурации, коммуникативные каналы для которых отсутствовали у существовавших институтов. Старшие поколения могли бы заимствовать эти знания, а главное — «способность к схватыванию будущего» (определение М. Мид) у молодежи.

Отражение этой ситуации мы находим в литературе 1950-х. В упомянутой монографии «Острова

утопии» Дмитрий Козлов, говоря о неформальных группах школьников, пишет о формировании, благодаря детской литературе, во второй половине 1940-х среди школьников «традиции романтической конспирации». И приводит замечание П. Вайля и А. Гениса о том, что диссиденты 60-х действовали так, «как если бы Тимур и его команда восстали бы против режима» [5, с. 209]. Но здесь речь идет снова о прекрасных 1960-х, да и представлена постфигуративная культура, в которой политические активисты нашли себе предшественников в довоенной культуре. Нарратив же префигуративной культуры иной, и формировался он другими авторами.

Произведением, впервые ярко показавшим тип нового молодого героя, стала повесть Ричи Достян «Два человека» (1955 г.), ранее предполагавшаяся как новелла «Детство штурмана» в ее цикле о Волге.

«Сюжетная коллизия, в которую автор включает своего маленького героя, многим тогда, в конце 50-х, казалась нетипичной: как, мол, это может быть, чтобы такой малыш служил опорой и надеждой взрослому искалеченному человеку», — так писала критик Галина Гордеева в 1987 г. в предисловии к «Избранному» Р. Достян [6, с. 9]. Ей кажется странным открытый финал повести: «Два человека шли по шоссе, подгоняемые весенним ветром. Им обоим казалось, что чья-то широкая, теплая ладонь, подпирая спину, помогает идти. А со стороны было не понять, кто из них ведет — мальчик или взрослый» [7, с. 118].

Г. Гордеева определяет сюжет как «подспудно текущую социально-психологическую тенденцию». Это, пусть с оговорками, но почти признание нарратива. Правда, критик видит эту тенденцию в том, что «ребенок, нуждаясь в опеке взрослых, способен дать старшему самое драгоценное — смысл и нужность жизни» [6, с. 9]. Но в повести Р. Достян этого нет. Более того, там восьмилетний сирота Валька трижды сам отказывается от не устраивающего его «усыновления». Его дружеские отношения со слепым Ефимом необычны. Для него он — источник знания о мире, о человеческих возможностях.

Есть и другие признаки, свидетельствующие о том, что в произведении Р. Достян показана именно ситуация префигуративной культуры. Так, преемственность в культуре возможна при одновременном проживании в ней представителей трех поколений, что принципиально исключено в сюжете повести. Наличие фигуры авторитетных старших как совершенных образцов жизни для молодежи также отрицается. Нет даже такого условного образца, важного для советской литературы, как «старый большевик», — подобные темы принципиально игнорируются. Здесь вспоминается самый одиозный пример префигуративного дискурса в литературе — история запрещенной первой версии романа А. Фадеева «Молодая гвардия», где все было именно инициативой молодых. Не показаны в повести Р. Достян и приемлемые механизмы общения между сверстниками — институционально разобщены и дети, и взрослые.

Это описание детства, из которого герой не «вышел», а из которого он «ушел». Он родом не оттуда, и не этому убожеству жизни и человеческих отношений он должен наследовать, создавая в 1950-е другую жизнь, — таков смысл появления в литературе нового типа героя. Он не был одиноким.

Так, в рассказе Ю. Казакова «Ночь» (1955 г.) идеи префигуративной культуры выражены в образе Семёна. Это «один из немногих героев Казакова, любимых им, автором, безоглядно и безусловно», — пишет критик Вл. Гусев [8, с. 6]. Шестнадцатилетний Семён, с которым автор встречается ночью у костра, мысленно сочиняет во время рыбалки симфоническую партитуру. Его знание происходит, в общем, из ниоткуда. Все, что может дать ему семья, — отец купил баян. Его музыкальное образование — в клубе берет нотные сборники, которые его не устраивают. Где-то что-то прочтет, что-то услышит. Но это не история о самородке. Это поэтическое видение возможности максимального расширения ресурса культуры; музыкальная симфония здесь символ гармонии нового, берущегося практически из ничего. Ну, то есть, из того, что есть. Надо только это по-новому услышать, понять: «Я лебедчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижу я, рычагами кручу, зазвенит лебедка, или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит, а я тренируюсь, звуки определяю, какой звук: “до” там или, может, “фадиез”…» [8, с. 21].

Война перерубила во многих сферах преемственность поколений, при этом остро поставила вопросы инновационного развития. Имеющимися ресурсами — как знаниями, так и производящими его институтами — советское общество решить эти вопросы не могло. Так что учащимся школ и ремесленных училищ подчас просто нечему было учиться у старших. При этом экспорт инноваций — вывоз и копирование технологий, промышленный шпионаж — поставлял новое знание. Вот ради

этого в советской педагогике и появляются идеи о самостоятельной работе и самостоятельном мышлении учеников. И продвигают их отнюдь не стихийные антисоветчики, а такие многоопытные представители советской науки, как академик АПН К.Н. Корнилов, в 1930 г. изгнанный с поста директора Института психологии, а в 1938 г. на этот пост вернувшийся.

«1950-е годы — очень рациональный период <…> после войны и в момент нового раздела мира во всем такая плотность, что нужно срочно определяться, предпринимать какие-то меры», — обобщает в своей недооцененной и, к сожалению, посмертно изданной книге Олег Киреев [9, с. 10].

Так что определяемая американцами ситуация «большой сделки» опиралась на сознательно проводимую в СССР культурную политику поддержки инновационного развития — довольно рисковую, так как она формирует подвижные социальные отношения. Если вернуться к повести Р. Достян, то старший — Ефим — как объект коммуникации не закрепляет другие объекты жизненного мира младшего — Вальки. Рассказами о своей прежней жизни, самим фактом своего существования он просто разрушает традиционную постфигуративную культуру, в которой «каждое высказывание включает в себя формы, обнаруживаемые в других высказываниях. Любой сегмент поведения, если его проанализировать, оказывается подчиняющимся одному и тому же основополагающему образцу» [3, с. 323]. А ведь эта цитата есть описание канона советской культуры, какой она была в 1930-е и какой вновь стала в 1960–1970-е, с их промышленным патернализмом в экономике.

Каким же образом пятидесятнический дискурс был исключен из советской культуры? Основными стратегиями были:

Первая — замена повествовательной формы, т.е. нарратива, визуальной репрезентацией с последующим окарикатуриванием и дискредитацией образа. Самый известный пример, сам по себе ставший карикатурой, — борьба со стилягами. В реальности кампания строилась тоньше. В руках таких мастеров, как Лев Кассиль, схема выглядела следующим образом: вначале визуализируем два образа — современная, но при этом милая девушка и нечто «как графин на подносе», с розаном из цветной гофрированной бумаги в волосах, с перстнем, в который вправлен увесистый изумруд из бутылочного стекла и т.п. Естественно, высмеяв одну из героинь, автор пытается вкрадчиво объяснить, как стать правильно-современным. Ответ — обратиться к старшим. Но опосредованно, ибо старшие предстают уже не персонализировано, а как ресурс культуры: «все сокровища нашего отечественного искусства <…> доступны для каждого школьника, для всякого молодого рабочего, студента» [10]. Но якобы значимый ресурс культуры, что предлагает в качестве образца тот же Л. Кассиль, на поверку оказывается ограниченным контентом, в котором «каждое высказывание включает в себя формы, обнаруживаемые в других высказываниях».

Вторая — «омоложение молодых» до возраста, когда принятие самостоятельный решений и выполнение самостоятельных работ проблематично. Так, если в 1950-х гг. символом наступающего года на поздравительной открытке мог быть 16-летний подросток, то в 1960–1970-х гг. изображенному «молодому году» — обычно лет семь. «Важнейший момент в визуальной политике <…> разработка детской составляющей. Огромное пространство значений и символов напрямую связано с детьми <…> Именно дети войдут в светлое коммунистическое завтра <…> Но дети должны вобрать и понести дальше все смыслы, значения и эмоции советского мира» [1, с. 158]. Поэтому, к примеру, открытки с влюбленными молодыми людьми, характерные для 1950-х, практически исчезают, зато каноном становится следующая «связь поколений», особенно на открытках к 7 Ноября: совсем уж малыши и дедушка как свидетель истории и рассказчик ее правильной версии.

Третья — замещение большого круга проблем самостоятельности и правообладания молодых легализацией и детализацией темы подростковой любви и всех сопутствующих этому терзаний. Начало — фильм 1961 г. «А если это любовь?» (режиссер Ю. Райзман) и преувеличенная дискуссия вокруг него.

Четвертая — формируемая постмодернистская «складка», когда массовые кампании, вроде освоения Целины, апеллировали к военному опыту и к опыту строек 1930-х, «перешагивая» через опыт самостоятельного поведения.

Результат был достигнут — подлинные 1950-е исчезли из исторического видения. И изменить эту ситуацию в должной мере пока не получается. Зато можно по новой рассуждать о российской имперской революции и о советской модели как форме глобализации [12], отрицая тем самым самостоятельность любой государственности на этой территории.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Лебский М.А. Рабочий класс СССР: жизнь в условиях промышленного патернализма. М.: Горизонталь; 2021. 250 с.
2. Кукулин И., Майофис М., Сафронов П., ред. Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940–1980-е). Коллективная монография. М.: Новое литературное обозрение; 2015. 720 с.
3. Мид М. Культура и мир детства. Пер. с англ. Ю.А. Асеева. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»; 1988. 429 с.
4. Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм. Рабочий класс и восстановление советской системы после окончания Второй мировой войны. Пер. с англ. М.: РОССПЭН; 2011. 357 с.
5. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: АСТ: CORPUS; 2018. 432 с.
6. Достян Р. Избранное. М.: Советский писатель; 1987. 464 с.
7. Достян Р. Два человека. Л.: Советский писатель; 1957. 117 с.
8. Казаков Ю.П. Избранное. М.: Художественная литература; 1985. 559 с.
9. Киреев Й. Земля. 50-е. М.: Common place; 2017. 574 с.
10. Кассиль Л. Дело вкуса. М.: Искусство; 1958. 80 с.
11. Шабурова О.В. Советский мир в открытке. Екатеринбург: Кабинетный ученый; 2017. 328 с.
12. Арнасон Й. Цивилизационные паттерны и исторические процессы. Пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение; 2021. 304 с.

REFERENCES

1. Lebsky M.A. The working class of the USSR: life in conditions of industrial paternalism. Moscow: Horizontal; 2021. 250 p. (In Russ.).
2. Kukulina I., Mayofis M., Safronova P., eds. Islands of utopia: Pedagogical and social design of the post-war school (1940–1980). Collective monograph. Moscow: New literary review; 2015. 720 p. (In Russ.).
3. Mead M. Culture and the world of childhood. Moscow: The main editorial office of oriental literature of the Nauka publishing house; 1988. 429 p. (In Russ.).
4. Filzer D. Soviet workers and late Stalinism. The working class and the restoration of the Soviet system after the end of World War II. Moscow: ROSSPEN; 2011. 357 p. (In Russ.).
5. Weill P., Genis A. 60th. The world of the Soviet man. Moscow: AST: CORPUS; 2018. 432 p. (In Russ.).
6. Dostyan R. Favorites. Moscow: Soviet writer; 1987. 464 p. (In Russ.).
7. Dostyan R. Two people. Leningrad: Soviet writer; 1957. 117 p. (In Russ.).
8. Kazakov Yu.P. Favorites. Moscow: Fiction; 1985. 559 p. (In Russ.).
9. Kireev Y. Land. 50th. Moscow: Commonplace; 2017. 574 p. (In Russ.).
10. Kassil L. Matter of taste. Moscow: Art; 1958. 80 p. (In Russ.).
11. Shaburova OV Soviet world in a postcard. Yekaterinburg: Cabinet Scientist; 2017. 328 p. (In Russ.).
12. Arnason J. Civilization patterns and historical processes. Moscow: New literary review; 2021. 304 p. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Андрей Алексеевич Трошин — кандидат философских наук, старший преподаватель Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса, Финансовый университет, Москва, Россия
AATroshin@fa.ru

ABOUT THE AUTHOR

Andrey A. Troshin — Candidate of Philosophy, Senior Lecturer, Department of Mass Communications and Media Business, Financial University, Moscow, Russia
AATroshin@fa.ru

Статья поступила 05.07.2021; принята к публикации 15.10.2021.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The article was received on 05.07.2021; accepted for publication on 15.10.2021.
The author read and approved the final version of the manuscript.